

Г.М. Зельдович

ДИСКУРСИВНЫЕ СВЯЗИ В ТРЕХ СТИХОТВОРЕНИЯХ Б. ПАСТЕРНАКА: ОБ ОДНОМ НЕОБЫЧНОМ ТИПЕ ПАРАЛЛЕЛИЗМА В ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

1. Введение

Известно, что всякий состоящий более чем из одной фразы текст осмыслен постольку, поскольку между входящими в его состав предложениями устанавливается какая-то реляция: каждое предложение связывается по меньшей мере с одним другим предложением посредством определенного предиката; см. особенно книгу (Asher, Lascarides 2003), где показано, насколько серьезно такой предикат способен во многих случаях изменять истинностное значение текста.¹ Если отношения между предложениями нарративные, это предикат наподобие «и потом»; если отношения детализационные, «распространительные» – предикат вроде «и еще скажу о той же самой ситуации»; если отношения контрастивные – предикат типа «две эти ситуации противоположны или могли бы оказаться противоположными по их влиянию на какую-то третью ситуацию», и т.д. (подробнее см. немного ниже).

Во многих случаях названный предикат остается имплицитным, но нередко имеет и поверхностное выражение: ср. совершенный вид глагола, который обычно «движет вперед» повествование (см. ниже); ср. союз *и*, который тоже часто становится показателем нарративности, или всегда «нарративные» обороты *и потом*, *и затем*, *после чего*; ср. союз *но*, который сигнализирует о контрасте; ср. вводные конструкции *иначе говоря*, *другими словами*, сигнализирующие, что по-новому сообщается уже известное, то есть о дискурсивном отношении *повтора*.²

¹ Правда, иногда постулируемые Н. Ашером и А. Ласкаридес дискурсивные отношения еще не обеспечивают интуитивную связность текста (см. особенно (Sequeiros 1995); см. также п. 2 ниже), однако то, что они *необходимы* для связности, совершенно несомненно.

² Подчеркнем во избежание недоразумений, что ни союз *и*, ни совершенный вид глагола не являются однозначными показателями нарративности, а только повышают ее вероятность. Так, в текстах, которые ниже будут еще рассматриваться по другому поводу, *Мария сломала лыжи. Она потеряла свое главное средство передвижения и Маша*

Из всех видов дискурса бесспорно полнее всего исследован дискурс нарративный; ср. среди необъятной литературы хотя бы такие фундаментальные работы, как (Fleischman 1990) или (Asher, Lascarides 2003); насколько стабильно интересы ученых обращаются именно вокруг наррации, особенно легко увидеть в представляющих неплохую статистическую выборку коллективных книгах, ср. хотя бы (Thelin 1990) или (Грамматические категории в дискурсе 2008).

У нарративного дискурса есть два важных свойства.

Во-первых, обнаружив в тексте те или иные признаки наррации (допустим, уже начато повествование о тех или иных событиях, либо текст открывается интродуктивным фрагментом типа *Жил-был крестьянин...*, либо мы знаем, что по жанру интересующий нас текст является рассказом, повестью и т.д.), мы и впредь ожидаем нарративности, повествования о сменяющих друг друга во времени событиях. Разумеется, в нарративном тексте нередко присутствуют еще и «фоновые», описательные элементы, которые не движут повествование, однако сказать, будто мы ожидаем этих элементов от нарративного текста в таком же смысле, в каком ожидаем рассказа о *развитии* событий, было бы очевидной натяжкой.

Во-вторых, у нарративного отношения есть свои специальные показатели, из которых особенно важна видо-временная характеристика глагола: как давно известно, «двигателем» повествования во многих языках, в том числе в русском, становится глагол совершенного вида, а в языках, где есть оппозиция типа «аорист – имперфект», – глагол в аористе (см., например, (Fleischman 1990)); о русском совершенном виде см., в частности, (Gasparov 1990)), причем выбор той или иной глагольной формы с большой вероятностью предсказуем: если исключить из рассмотрения настоящее историческое (или, что приблизительно то же самое, настоящее нарративное) время, то лишь в редчайших случаях наррацию может двигать несовершенный вид или имперфект, и лишь в редчайших случаях глагол совершенного вида или глагол в аористе обозначает ситуацию, лежащую вне основной повествовательной линии.

Иными словами, в повествовательном тексте и само содержание дискурсивных связей, и их формальное выражение высокопредсказуемы, а это значит, что такие связи лишь очень редко могут приобрести здесь какой-то

расплакалась прямо на рабочем месте. Она получила выговор от начальника, употреблены глаголы совершенного вида, однако отношения между частями каждого текста скорее не нарративные, а детализационные в первом случае (здесь два предложения по-разному описывают одно и то же событие) и пояснительные во втором (выговор был причиной слез). Как хорошо известно, конкретный смысл того или иного указывающего на текстовые отношения слова или выражения зависит от жанра данного текста, от – в самом широком смысле – «режима интерпретации»; см. богатые иллюстрации в (Fleischman 1990).

особый, «вторичный» смысл, предопределенный контекстом одного конкретного произведения и невозможный в произведениях иных.

Лирическая поэзия в обоих этих планах ведет себя совершенно иначе.

Как хорошо известно из работ по прагматике, особенно по теории релевантности (см. особенно (Sperber, Wilson 1995)), всякий текст несет презумпцию своей осмысленности, во всяком, даже с виду абсурдном, тексте мы склонны предполагать связность. Однако очевидно, что в лирическом тексте эта презумпция осмысленности *особенно* сильна: например, здесь гораздо скорее, чем в повседневной речи, допускаются внутренние связи по неочевидной, субъективной и далеко не всегда разделяемой читателем ассоциации или туманные метафоры, чье отношение к окружающему тексту также может оставаться принципиально неопределенным.

Поэтому в случае лирической поэзии неясно, какие же касающиеся развития текста прогнозы мы можем делать и склонны ли мы их делать вообще. Например, читая открывающую такой дискурс фразу *Я вас любил*, мы едва ли будем строить догадки, окажется ли его остальная часть рассказом, нарратией, – или вариациями на ту же самую тему, или смесью того и другого. Разумеется, это не значит, будто всякий поэтический текст в обсуждаемом смысле непредсказуем: просто соответствующую инерцию он должен создать сам, и влияние жанра тут серьезно ослаблено.

Еще важнее для нас будет другое. Хотя в принципе дискурсивные отношения в лирической поэзии бывают тех же разновидностей, что и во всяком ином тексте (среди прочего, здесь встречаются и *нарративные* фрагменты), исключительно сильная «презумпция связности» делает прямой смысл этих отношений в той или иной степени менее важным, и поэтому здесь они часто выполняют не только свою примарную, «прототипическую», но еще и какую-то дополнительную, совершенно не предсказуемую априори функцию, благодаря которой уже не просто обеспечивают связность текста, но обогащают его содержание и в других, уже суггестивных планах. Нередко какие-то «конфигурации» дискурсивных связей вступают в своеобразную переключку, своеобразный параллелизм с иными, более эксплицитными, очевидными из присутствующих в тексте смыслами и таким образом эти смыслы дополнительно выделяют и акцентируют. Для многих выдающихся стихотворений характерен удивительный резонанс между неявными, открывающимися только при детальном лингвистическом анализе особенностями дискурсивных связей и прямым или во всяком случае не слишком глубоко «упрятанным» смыслом текста – резонанс, чью природу и изначальные причины чьего возникновения еще только предстоит понять.

Пока же ясно лишь то, что соотношение между собственно риторической структурой поэтического текста и иными его смысловыми пластами

может строиться по тому же принципу параллелизма, повтора, на котором основана вся лирическая поэзия, но вместе с тем в данном случае эта «взаимоотраженность» ее составляющих необычайно специфична и требует к себе совершенно особого внимания, ибо – парадоксальным образом – в высокой степени *выводит* лирическую поэзию за ее собственные границы, о чем будет удобнее подробно сказать позднее.³

Иногда бывает и так, что какое-то ожидавшееся читателем и даже как будто уже присутствующее в стихах отношение в определенной мере разрушается, «денонсируется» – причем сама эта деструкция может осуществляться тоже чрезвычайно изысканными, непредсказуемыми способами и тоже может выполнять особую, осмысленную роль.

Можно думать, что такая вторичная функция дискурсивных отношений, будучи в общем и целом непрогнозируемой, «окказиональной», в то же время иногда едва ли не более важна, чем функция примарная. Эту мысль мы хотели бы ниже проиллюстрировать, проанализировав три стихотворения Б. Пастернака: «Никого не будет в доме...», «Февраль» и «Свидание».

Сначала, однако, нужно сказать подробнее об основных разновидностях дискурсивной связи и о том, как они иерархизированы в плане своей маркированности.

2. Важнейшие типы дискурсивных отношений

Хотя в целом дискурсивные связи могут быть весьма разнообразны (так что даже и конечность их списка некоторыми ставится под сомнение (Nicholas 1994)), практически все занимающиеся лингвистикой текста авторы

³ Ниже в отдельных случаях, обсуждая описанный параллелизм, мы будем говорить об *иконическом* отношении между особенностями риторической структуры и иными заключенными в тексте смыслами. Такая терминология достаточно условна, ибо иконизм принято усматривать между формой знака и характером денотата, а здесь один смысл оказывается иконой другого. Тем не менее, мы решились на такую вольность, и тому есть несколько причин.

Во-первых, термин наподобие «иконичности» или «иконы» в некоторых случаях оказался практически незаменим, ибо он хоть и не вполне точно, но зато очень кратко, без утяжеления текста (особенно это важно в заголовках) характеризует существо дела.

Во-вторых, когда говорят об иконическом отношении между знаком и действительностью, подразумевается, что в структуре знака отражены лишь некоторые, наиболее явные, «схематические» черты денотата. Очевидно, что по сравнению с несоизмеримо более богатым общим смыслом произведения те или иные особенности его риторической структуры обнаружат точно такой же схематизм. Поэтому характер интересующих нас соотношений по крайней мере в этом весьма важном плане все-таки *подобен* характеру отношений между иконическим знаком и его внеязыковым «соответствием».

Наконец, в-третьих, применительно к поэтическому тексту само понятие денотата оказывается достаточно условным, ибо денотат тут в общем случае фиктивен, создан самим текстом, так что и вообще представление об иконизме при анализе поэзии неизбежно должно быть существенно либерализовано.

сходятся на том, что центральными их разновидностями являются уже кратко охарактеризованная выше *наррация*, *детализация* (в английской традиции – *elaboration*) и примыкающее к ней *пояснение* (*explanation*); см. в особенности исключительно влиятельную книгу (Asher, Lascarides 2003); см. также (Jasinskaja 2009), откуда мы с легкими изменениями заимствовали некоторые из последующих примеров.

При наррации события представляются в их временной последовательности. Заметим сразу, что в лингвистической теории дискурса наррация понимается существенно шире, чем в литературоведении. Литературоведы под наррацией обычно подразумевают рассказ о последовательных событиях, которые *имели место в действительности, а не в воображении*, которые, будучи взяты вместе, *формируют целостную историю*, с отчетливым началом и концом, причем в норме каждое из них *происходит только один раз*, а потому легко может быть локализовано на временной оси по отношению к иным, более ранним и более поздним событиям. Поэтому, скажем, литературоведческая поэтология никак не признает нарративным текст *Иван странный. Вчера вечером сел за книгу – и тут же погасил свет*, где в центре внимания скорее не рассказ о сменяющих друг друга событиях (*сел за книгу, погасил свет*), но мысль о *странностях* Ивана. Что касается лингвистики текста, то здесь наррацией считается *любой* сколь угодно краткий рассказ о хотя бы двух последовательных событиях. В частности, эти события могут не принадлежать к, так сказать, первому плану дискурса и сообщение о них может играть служебную роль (скажем, помогать в построении аргументации, как это обстоит в только что приведенном тексте), могут многократно повторяться, вследствие чего становится крайне трудно приурочить их к тому или иному конкретному времени (так называемая генерализованная наррация, как в тексте *Иван так всегда: сел – и сразу уснул*), могут принадлежать не реальному, а фиктивному миру; ср. хотя бы рассказы о виденном сне, которые по сравнению с «канонической», «типовой» наррацией имеют не только референциальную, но и собственно лингвистическую специфику: здесь очень часто используются не характерные в целом для наррации глагольные формы, например имперфект в романских языках или несовершенный вид в русском, ср. хотя бы такой фрагмент: *...И меня догоняло какое-то чудовище. А потом говорило мне человеческим голосом, что я должен трижды подпрыгнуть – и тогда освобожусь от насанных на меня чар*. Все эти явления можно определить как *неканоническую* наррацию, но для лингвиста это – все же *наррация*. (Подробный анализ неканонических случаев, в том числе только что упомянутой генерализованной наррации и рассказов о снах, содержится в книге С. Флейшман (Fleischman 1990)).

При детализации мы либо еще раз, но иначе называем ту же самую ситуацию (этот тип детализации принято называть повтором), либо сообщаем об уже названной ситуации некоторые дополнительные сведения (ср. примеры (1-2) ниже). При пояснении мы даем информацию, почему ситуация возникла (тут часто говорят о *причине* как об особом текстовом отношении), либо почему мы думаем, что так произошло (соответственно, (3) и (4)).

(1) Мария сломала лыжи. Она потеряла свое главное средство передвижения (наиболее естественное прочтение: 'этим средством были лыжи', то есть две пропозиции кореферентны).

(2) Мария испортила одежду. Она утюгом прожгла в блузке дыру (предпочтительна интерпретация, согласно которой второе предложение сообщает о дополнительных обстоятельствах первого события, а не о какой-то иной, независимой ситуации).

(3) Мария испортила одежду. У нее вылился чернила (одежда скорее всего была испорчена именно пролитыми чернилами).

(4) Мария испортила одежду. Она покупала в магазине пятновыводитель (тут вывод, что Мария испортила одежду, делается скорее всего на том основании, что она покупала пятновыводитель).

Кроме того, частыми в текстах являются такие отношения, как *следствие*, *параллелизм*, *контраст* и так называемое *продолжение* (*continuation*; самый слабый, неспецифический тип связи, усматриваемый там, где о ней не удастся сказать ничего конкретного), ср. соответственно примеры (5), (6), (7) и (8):

(5) Мария испортила одежду, ей не в чем идти на прием.

(6) Мария испортила одежду, а Иван разбил окно.

(7) Мария испортила одежду, а Иван ее заштопал и подкрасил.

(8) Мария испортила одежду. Одежда теперь весьма дорогая.

О причинно-следственных отношениях заметим, что они весьма часто присутствуют и в наррации, ибо здесь смысл 'событие P1 предшествует событию P2' мы склонны усиливать до 'событие P1 является причиной P2'; см. особенно (Asher, Lascarides 2003). Впрочем, и собственно наррация без причинно-следственных отношений имеет право на существование; в частности, некоторые языки располагают специальными средствами, позволяющими два эти типа наррации разграничить; см., например, (Кибрик 2008).

Нередко встречается по сути близкое к контрасту ограничительное отношение (эксклюзив), как в примере

(9) Все, кроме (за исключением) Ивана, пришли.

В качестве особого отношения в литературе обычно выделяют отношение между «фоном», так сказать, вторым планом нарративного текста и главной, «первоплановой» линией повествования. Особым типом можно признать также отношения интродуктивные – те, которые устанавливаются в нарративном тексте между собственно повествованием и начальным фрагментом текста, где чаще всего представляются главные персонажи, место и время действия (ср. типичные сказочные зачины вроде *Жили были старик и старуха; В некотором царстве...; Давным-давно...*), а также предыстория повествуемого, то есть более или менее давние события, которые исключены из актуального сюжетного времени.

Для наших рассуждений будет принципиально важно, что на содержание связываемых тем или иным отношением пропозиций накладываются ограничения двух ощутимо различных типов.

Во-первых, это вполне очевидные ограничения, которые прямо и непосредственно вытекают из, так сказать, главного смысла дискурсивных отношений. Например, поскольку наррация по определению имплицитно временную *последовательность* ситуаций, то достаточно трудно признать полноценной наррацией описание таких двух ситуаций, которые начались одновременно, но при этом одна из них протяженнее другой и закончилась позже. Хотя и в работах Н. Ашера, А. Ласкаридес и их последователей, и во многих иных работах по теории дискурса подобные отношения причисляются к нарративным (см., например, (Lascarides, Oberlander 1993)), в этом, кажется, есть немалая доля условности, и назвать их точнее было бы каким-то особым термином, скажем, «квази-наррация». Такая наррация представлена в тексте:

(10) По дороге на вершину горы я вывихнул ногу. Она долго потом болела.

Если кто-то вывихивает ногу, боль обычно появляется в тот же самый момент, так что последовательность ситуаций в строгом смысле слова здесь маловероятна. Поэтому второе предложение едва ли способно без натяжек отвечать на стандартный для всякой наррации вопрос *А что было потом?*, ср. странный диалог:

(11) – По дороге на вершину горы я вывихнул ногу.

– А что было потом?

– ?? Она еще долго потом болела.

Более того, как раз диагностический для *детализации* вопрос типа *Что еще ты хочешь сказать об этом происшествии?* здесь совершенно уместен, ср.:

- (12) – По дороге на вершину горы я вывихнул ногу.
 – Что еще ты хочешь сказать об этом происшествии?
 – Она долго потом болела.

Таким образом, даже если отнести текст вроде (10) к нарративным, то все равно нужно признать, что наррация тут во многом «атипичная», ибо атипичным образом тут проявляет себя *самое главное*, «сущностное» свойство нарративных текстовых отношений.

Во-вторых, на смысл соединяемых той или иной связью фрагментов текста налагаются ограничения более тонкие, такие, которые с семантикой соответствующего связующего предиката ассоциировать либо вовсе нельзя, либо же сама его семантика должна быть эксплицирована с несоизмеримо большей, чем это делается обычно в литературе и сделано нами выше, степенью подробности.⁴

Например, у связанных нарративным или детализационным отношением фрагментов должна быть общая тема, причем общность темы – скалярная величина, поскольку тема эта может быть и более, и менее очевидна; ср. тексты, где прагматическая доступность общей темы максимальна в первом случае и убывает во втором и третьем:

(13) Иван пришел домой. Он зажег свет и вошел в комнату (общая тема, *Иван*, эксплицирована в тексте).

(14) Гориллы грустные, зато веселы кенгуру (общую тему, скажем, ‘посещение зоопарка’, нужно домыслить, но сделать это сравнительно легко).

(15) Зашло солнце. У Ивана заглох мотор (общую тему, вроде ‘Иван попал в неприятное положение’, угадать уже достаточно тяжело, это возможно только при подсказке со стороны контекста, например, если известно, что Иван ехал по безлюдной местности, и если текст продолжен: ...*Тут Иван понял, что дело плохо*).

Далее, наррация предполагает не только единство темы как таковой (единство, так сказать, главных персонажей), но также единство времени и

⁴ В работах Н. Ашера и А. Ласкаридес принимается компромиссное решение и основные минималистические формулировки снабжаются пространными комментариями относительно таких менее очевидных ограничений.

места. Кроме того, при наррации имплицитно принимается, что состояние мира, возникшее в результате предыдущего события, сохраняется к моменту последующего; иначе были бы правильны тексты вроде (16); см. подробно (Asher, Lascarides 2003).

(16) *Мария переехала из Петербурга в Москву. Затем она переехала из Таллинна в Москву (чтобы переехать куда-то из Таллинна, надо там поселиться, а это несовместимо с тем состоянием мира, о наступлении которого говорится в первой фразе).

Что касается пояснительной связи, то во многих случаях для ее возникновения еще недостаточно, чтобы ситуация, описанная во втором высказывании, относилась к описанной в первом как причина к следствию. Важен обычно и «уровень категоризации», то, с какой мерой конкретности о причине говорится. Так, чрезмерная конкретность часто делает пояснительные отношения невозможными; ср.:

(17) Больному прописана валериана. Он нервозен (пояснительная связь нормальна).

(18) ?Больному прописана валериана. У него повышена проводимость нервных волокон

(подробнее о таких примерах см. (Sequeiros 1995)).

Отсюда хорошо видно, что природа той или иной текстовой связи вовсе не сводится к ее, так сказать, *прямому смыслу*: каждый тип связи может обнаруживать множество дополнительных идиосинкразий и предпочтений, дополнительных свойств, в том числе – в принципе – и свойств «реляционных», касающихся *взаимосоотношения* между данным типом связи и другими ее типами.

Подобные тонкие идиосинкразии и предпочтения и подобные соотношения не поняты еще до конца и даже не описаны с надлежащей подробностью, однако для нас важно иное: то, что всякая такая особенность текстовых отношений, будучи в поэтическом произведении каким-либо образом подчеркнута или, наоборот, демонстративно проигнорирована, способна стать источником дополнительного суггестивного смысла.

Замечание. Прозрачной аналогией может быть употребление грамматических времен. В работах по нарратологии, особенно в (Fleischman 1990), убедительно показано, что грамматические времена (речь обычно идет о временах западноевропейского типа – настоящем, перфекте, имеющем аористический характер так называемом «простом прошедшем» и имперфекте; то же самое с поправками на отличие нашей видео-временной систе-

мы приложимо и к русскому языку) по своему значению не являются примитивными, но несут каждое целый *кластер* смыслов. Скажем, для простого прошедшего характерны и «объективность», оторванность от чьего-либо личного опыта, и значительная временная дистанцированность события от момента речи, и временная упорядоченность событий, и их предпочтительная однократность, и т.д.; имперфект простому прошедшему резко противопоставлен по всем названным признакам, кроме последнего: имперфект употребляется именно там, где речь идет о личном опыте говорящего или героя, событие представляется как происходящее в момент наблюдения, событие даже не «выхватывается» мысленно из потока событий, но как бы случайно всплывает в памяти, так что вообще всякая его соотнесенность с иными событиями тут разрушается (см. подробнее указанную книгу). При этом игра с *любым отдельным* из таких смыслов уже может предопределить выбор того или иного грамматического времени, то есть каждый отдельный смысл либо его «снятие», значимое отсутствие уже способны служить определенным художественным задачам.

Говоря о том, как же друг с другом соотносятся разные типы дискурсивной связи, нельзя не обратиться к давно обсуждавшемуся и принципиально важному для теории дискурса вопросу об их *относительной маркированности*.

В работе (Jasinskaja 2009) убедительно продемонстрировано, что немаркированными в ряду «наррация – детализация – пояснение» оказываются детализационные и пояснительные отношения, а наррация маркирована (см. на эту тему также (Asher, Lascarides 2003: 199-201; 206-207 и др.)).

Там, где нет прямых подсказок иного характера (лексических, интонационных, связанных с выбором видо-временной формы; см. ниже), мы каждую следующую фразу склонны понять как дополнительное описание *того же самого* события, которое описывалось в предыдущей или предыдущих, или – как описание его причин.⁵

⁵ Понятно, что детализация и указание на причину весьма друг другу близки. Во многих случаях причину и следствие мы склонны воспринимать не как две разные ситуации, но как два аспекта или две стадии *одного и того же события*. Например, в ситуации *Иван сварил суп* можно усмотреть и «причину» ‘Иван делал что-то для того, чтобы суп возник’, и «следствие» ‘суп возник’. Аналогично для ситуации *Иван убил Петра* (в первом приближении, ‘Иван совершил определенные действия; в результате этого Петр перестал жить’). Разумеется, с утверждением, будто один глагол *сварить* или *убить* обозначает сразу две ситуации, согласится только лингвист (да и то не всякий; ср., например, временную логику Д. Даути (Dowty 1977)), а в обычном, общепринятом смысле оно кажется просто абсурдным. При этом принципиально важно, что подобным образом устроено значение почти всех переходных агентивных глаголов, то есть почти всех представителей *наиболее прототипического в языке глагольного класса*: переходные агентивные глаголы в большинстве случаев указывают на целую каузальную цепь,

Предположим, что мы интерпретируем письменную речь, так что в дело не вмешиваются особые склоняющие к нарративному прочтению интонационные средства (о том, каковы они и сколь велика их важность, см. снова (Jasinskaĵa 2009)). Предположим также, что никаких указаний относительно интересующих нас дискурсивных связей не дает и контекст.

В таком случае, например, известный уже нам текст

(1) Мария сломала лыжи. Она потеряла свое главное средство передвижения

мы поймем в том смысле, что этим средством были лыжи – несмотря даже на то, что, поскольку лыжи редко бывают главным средством передвижения, нашим энциклопедическим знаниям такой вывод скорее *противоречит*.

Аналогичным образом, интерпретируя текст

(19) Маша готовилась к экзамену. Она перечитывала конспекты лекций,

мы решим, что подготовка и состояла в перечитывании конспектов.

О том, насколько сильна и независима ни от контекста, ни от наших представлений о действительности наша склонность усматривать в подобных случаях именно детализацию, видно из следующего странного текста:

(20) [?] Даша готовилась к экзамену. Она смотрела телевизор.

Мы не привыкли к тому, чтобы кто-то смотрел телевизор *и таким образом готовился к экзамену*. Поэтому, абстрактно говоря, понять (20) естественнее как сообщение о двух *разных* Дашиных занятиях, в «недетализационном», возможно, в нарративном, смысле ‘в одно время Даша готовилась к экзамену, в другое время она смотрела телевизор’. И тем не менее, пример (20) ошутимо неловок: неловок потому, что даже там, где отношения детализации противоречат нашим знаниям о мире, они все равно остаются очень сильным «дефолтом» и предполагаются нами *в первую очередь*.

Замечание 1. Исправить (20) можно, добавив союз *и*:

(21) Даша готовилась к экзамену и смотрела телевизор.

которая интерпретируется как одно событие; см. подробно (Croft 1991; 1994). Отсюда хорошо видно, насколько логика обычного языка склонна отождествлять указание на причину ситуации с просто более подробным, «иноаспектным» ее описанием.

В таком случае тут определенно передается смысл ‘в одно время Даша готовилась к экзамену, в другое время она смотрела телевизор’ – однако для того, чтобы «избавиться» от детализации, понадобилось уже *дополнительное формальное средство*, и с этой точки зрения пример (21) уже не совсем нейтральный, но *маркированный*.⁶

Замечание 2. Хотя этот вопрос для нас не ключевой, объясним все же коротко, каким же прагматическим механизмом создается, по Е. Ясинской, описанное только что положение вещей. Всякое утвердительное высказывание является ответом на какой-то (эксплицитный или имплицитный) вопрос. Точно так же ответом на какой-то вопрос, только более широкого характера (вплоть до простого *Что случилось?*) является и целый текст, и всякий его фрагмент; см. особенно (Kuppevelt 1996). С другой стороны, от ответа мы в прототипическом случае ждем, что он будет *исчерпывающим*, будет содержать *всю* ту информацию, какая в данной коммуникативной ситуации нужна спрашивающему. Если в ряду соположенных высказываний по умолчанию, при отсутствии иного рода индий, каждое рассматривается как исчерпывающий ответ на главный задающий тему текста или данного фрагмента вопрос, это значит, что все они описывают *одну и ту же ситуацию*, то есть – отношения между ними детализационные. За необходимыми тут подробностями отсылаем читателя к (Jasinskaja 2009).

Пояснительные отношения тоже немаркированы: например, именно их мы по умолчанию усмотрим в тексте

(22) Мария сломала лыжи. У нее заболела нога.

В принципе понять сказанное можно и в смысле ‘Мария сломала лыжи потому, что у нее заболела нога’, и в смысле ‘Мария сломала лыжи, и потом (видимо, по причине этого) у нее заболела нога’. Обе интерпретации примерно в одинаковой степени совместимы с нашими представлениями о мире – и тем не менее быстрее приходит на ум первая, так сказать, «пояснительная», а не нарративная.

Аналогичным образом обстоит в примере:

(23) Маша расплакалась прямо на рабочем месте. Она получила выговор от начальника.

⁶ Почему появление союза *и* приводит к подобным эффектам, один из самых дискуссионных вопросов в лингвистике текста; см. анализ предлагавшихся объяснений в (Jasinskaja 2009).

Ситуация, когда начальник делает выговор за плач на работе, ничуть не менее естественна, чем обратное: когда работник плачет *после* полученного выговора. Если текст (23) описывает последовательность событий 'начальник сделал выговор – Маша расплакалась', то отношения в нем нарративные, а если последовательность 'Маша получила выговор – Маша расплакалась' – пояснительные. Совершенно очевидно, что при «непредвзятой», «наивной» интерпретации этого текста мы поймем его именно во втором, *пояснительном* смысле.

Не совсем понятно, какое в точности место на обсуждаемой шкале маркированности занимают причинно-следственные отношения, однако почти наверняка место это достаточно высокое, ибо, как видно уже из приведенного выше примера (5) *Мария испортила одежду, ей не в чем идти на прием*, соответствующую связь легко домыслить даже в отсутствие специального показателя. С другой стороны, такие отношения по природе близки к нарративным и потому, по логике вещей, так же, как нарративные, должны прогадывать детализационным и пояснительным.

Здесь необходимо подчеркнуть, что хотя по сравнению с детализацией и пояснением наррация оказалась маркированным отношением, все же ее статус в системе дискурсивных связей весьма высок.

Во-первых, сошлемся просто на статистику – на исключительную распространенность повествовательных либо по преимуществу повествовательных текстов в повседневной коммуникации.

Во-вторых, наверняка не случайна и та последовательность, с которой изучающие текстостроение и лингвисты, и поэтологи сосредоточиваются в первую очередь на анализе нарративного дискурса – как дискурса в определенном смысле прототипического, «эталонного»: это значит, что по крайней мере *по некоторым* из своих свойств нарративная связь все же *не маркирована*.

Возможно, дело в том, что наш сложный опыт мы почти всегда склонны «разворачивать» в «историю», о чем издавна и на разные лады писали теоретики дискурса. Ясно, что темпоральные отношения между ситуациями в нарративном ряду намного прозрачнее, чем отношения иных типов, ибо это всегда отношения предшествования – следования.

Даже в таком простом случае ненарративной связи, каким является детализация, имеются уже две возможности: описывая одну и ту же ситуацию, пропозиции, находящиеся в детализационной связи, обычно обладают *в точности одинаковой* временной отнесенностью (или одинаково ее лишены, если речь идет о вневременных, гномических ситуациях), но встречается и более сложный вариант, когда время существования какой-то субситуации «влагается» в тот интервал, который занимает соответству-

ющая ситуация как целое. Так, в тексте *Маша приготовила суп. Она чистила овощи, клала их в кастрюлю, ставила ее на огонь... и т.д.* вторая, третья и четвертая ситуации детализируют первую, но во времени занимают каждая лишь часть того интервала, где локализуется ситуация 'Маша приготовила суп'. Это не мешает языку трактовать подобные временные соотношения как одновременность (например, в рассматриваемом случае допустимо сказать *Когда Маша готовила суп, она чистила овощи, клала их в кастрюлю, ставила кастрюлю на огонь*), однако ясно, что перед нами тут одновременность серьезно «либерализованная», одновременность далеко не такого же рода, как, допустим, в примере (1) *Мария сломала лыжи. Она потеряла свое главное средство передвижения.* (К этой теме у нас еще будет случай вернуться при разборе примера (25)).

Уже отсюда видно, что темпоральные отношения ситуаций при детализационной их связи несколько сложнее, чем в наррации.

Что же касается ненарративных дискурсивных отношений в целом – учитывая и пояснительную связь, и причинно-следственную связь, и отношения «фон – события нарративной линии», и контраст, и остальные типы связи, – то здесь возможны и те же самые предшествование и следование, что при наррации, и одновременность, и включение времени одной ситуации во время другой, и частичные наложения, и, вневременность, гномичность по крайней мере одной из ситуаций, и исключение ситуации из, так сказать, актуального временного мира (так бывает в интродуктивных частях повествовательного текста, в отступлениях, мотивировочных фрагментах и др.; на такое исключение в языках, где она есть, часто указывает плюсквамперфектная форма глагола; см. (Петрухин, Сичинава 2006)) – так что пространство возможностей здесь оказывается и несоизмеримо более обширным, и намного слабее структурированным.

Важно, по-видимому, и то, что нарративный текст способен *наиболее очевидным образом* «расслаиваться» на собственно повествование, так называемый «первый план», и все то, что к основной повествовательной линии не принадлежит и называется обычно «вторым планом»; см. Особенно (Norper, Thompson 1980). В результате даже там, где нарративные связи между частями текста осложняются связями иных типов, его внутренняя структура оказывается в общем случае *более прозрачной*, чем у текстов ненарративных, а отчетливость, определенность свойств той или иной языковой единицы как раз и свидетельствует о ее прототипичности; вспомним хотя бы то хорошо известное обстоятельство, что наиболее канонические формы в парадигме слова часто обладают наибольшим числом грамматических значений; таковы, например, личные формы русского глагола, которые, будучи намного прототипичнее инфинитива, причастия и деепричастия, богаче также и по числу собственно глагольных морфологических

категорий: у инфинитива, причастия и деепричастия нет лица и склонения, у инфинитива нет также времени, а временная система причастий и деепричастий по сравнению с временной системой личных форм явно «вырождена»; см. на эту тему особенно (Croft 1991). (Разумеется, все здесь сказанное не более, чем беглые заметки, и вполне может быть так, что свойства наррации, делающие ее в том или ином плане прототипическим модусом текстопостроения, весьма многочисленны и лежат, фигурально выражаясь, «в разных плоскостях». В связи с последним добавим, что первое из только что названных свойств касается когнитивного статуса наррации, ее соотношения с нашим мышлением, а второе – внутреннего устройства нарративных дискурсов, так что уже эти два свойства не только не сводимы друг к другу, но и очевидным образом разноплановы.)

Далее, о слабой маркированности нарративных отношений свидетельствуют и другие факты. Так, по данным О. Даля (Dahl 1985: 189), именно нарративная форма глагола в целом ряде языков тяготеет к наибольшей простоте: скажем, предназначенные для наррации аористические времена в романских языках короче не-нарративных имперфектных – а такое положение вещей, если учесть общеизвестную тенденцию к иконическому соответствию между формальной сложностью языковых единиц и их сложностью содержательной, свидетельствует об исконности, немаркированности нарративных употреблений глагола. Обратим внимание, что и в современном русском языке, поскольку здесь большинство видовых пар – суффиксальные, столь часто используемый в основной повествовательной линии текста совершенный вид глагола «среднестатистически» по форме проще несовершенного.

Далее, как показал в свое время П. Хоппер (Norreg 1979), в связанных нарративными отношениями предложениях ремой почти всегда оказывается либо сам глагол, либо глагол вместе с прямым дополнением, то есть и тема-рематическая структура таких предложений – тоже *наименее маркированная*, предельно *простая*. (Это вполне объяснимо тем обстоятельством, что при наррации нас интересует в первую очередь само действие, а специфика большинства действий, так сказать, «сосредоточивается» в глаголе и его объекте. Что касается фраз с иной тема-рематической структурой, как, допустим, *Это Иван разбил вазу*, где рема – *Иван*, то они используются для того, чтобы описать дополнительные обстоятельства *уже известного* действия и потому нарративную функцию могут выполнять лишь в редчайших исключительных случаях). При желании найдутся и более экзотические свидетельства простоты нарративного дискурса; например, по сведениям того же П. Хоппера, оппозиция «нарративность – не-нарративность» в языке тагалог нередко выражается через формальное

противопоставление глагола с нередуцированной и глагола с усложненной, «удвоенной» основой.⁷

Наконец, нарративные отношения отчасти сходны с детализационными в том, что как правило не требуют специального лексического показателя, вроде *и, и потом, и затем, после чего* и т.п.

Помня, что по своей маркированности дискурсивные отношения достаточно четко иерархизированы, займемся стихотворением Бориса Пастернака «Никого не будет в доме...».

3. «Никого не будет в доме...» Б. Пастернака: когда статус текстовых отношений важнее, чем их существо

1.
Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

2.
Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой,
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, – никого.

3.
И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной,

4.
И опять кольнут доньше
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.

⁷ Правда, в языках мира встречается и такая ситуация, когда именно нарративный дискурс обладает своими особыми, более сложными, чем не-нарративный, показателями (это могут быть, к примеру, своеобразные «маркеры важности», присоединяемые к глаголу), однако, по свидетельству большинства авторов, в том числе О. Даля, П. Хоппера и многих других, усложненность нарративной формы дискурса все же редка и вдобавок почти всегда продиктована какими-то *привходящими* историческими обстоятельствами.

5.

Но неожиданно по портьеру
Пробежит сомненья дрожь.
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдешь.

6.

Ты появишься из двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то, впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.

Примечательно то, что по характеру устанавливаемых тут дискурсивных отношений стихотворение четко делится на три части.

В строфах 1-2 отношения эксклюзивные, ограничительные, в строфах 3-4 это наррация. Строфу 5 допустимо понять и как наррацию (сначала «пробежит сомненья дрожь», затем – «ты... войдешь»), и как детализацию – если думать, что дрожь портьер и приход героини одновременны и просто суть два аспекта одного действия. Наконец, отношения между строфами 5 и 6 – безусловно детализационные, последняя строфа отправляет нас к точно тому же событию, которое описано в пятой.

Вспомним, что детализационные дискурсивные отношения менее маркированы, нежели наррация, – ибо их мы *скорее* готовы усмотреть там, где контекст в принципе допускает оба эти варианта (см. п. 2 выше). С другой стороны, хотя нарративные отношения по своей прототипичности и уступают детализационным, они тоже относятся к самым главным, «центральным» разновидностям текстовой связи – и ввиду их частой встречаемости в естественных текстах, и ввиду того, что они когнитивно проще иных недетализационных отношений, и ввиду относительной простоты их оформления, среди прочего потому, что такие отношения как правило могут возникать в отсутствие каких-либо специальных лексических показателей вроде *и, и потом, затем* и проч.

Что же касается *эксклюзивных, ограничительных* дискурсивных отношений, то они явно принадлежат к периферии – и в силу своей статистической редкости, и потому, что непременно нуждаются в эксплицитном маркировании, например с помощью слов *кроме* или *только*, а значит, когнитивно настолько сложны, «слабодоступны», что просто «догадаться» о них никогда нельзя.

Ввиду этого трудно не предположить, что в «Никого не будет в доме...» эволюция текстовых отношений от высокомаркированных ограничительных к менее маркированным нарративным и затем к еще более прототи-

пическим детализационным находится в иконическом соответствии с движением текста от рассказа о посторонних главной героине вещах к описанию того, как она появляется, – ибо и у Пастернака вообще, и в этом стихотворении в частности подлинная любовь предстает именно как форма гармонии, как нечто естественное, пребывающее в природе вещей, а не натужное и мучительное.

Справедливость этой гипотезы подтверждается тем, что *точно такую же суггестию стихотворение «Никого не будет в доме...» создает и совершенно иными средствами – используя разные способы введения в текст новых референтов*.⁸

На всем протяжении текста в него вводятся новые референты (или, если угодно, квазиреференты – там, где соответствующей сущности на самом деле *нет*): никто, сумерки, зимний день, промельк комьев, крыши, снег и т.д.

Однако *по способу* введения новых референтов стихотворение с классической четкостью делится на три части. В строфах 1 и 2 используется бытийная конструкция, в строфах 5-6 новый референт – это субъект не бытийной, но и не переходной конструкции, а в срединных строфах 3-4 – субъект конструкции переходной.

Вот интересующие нас места:

Строфы 1-2: *никого не будет в доме*; <в доме будут сумерки>; <будет> зимний день; <будет> промельк комьев; <будут> крыши и снег; <не будет> никого.⁹

Строфы 3-4: *зачертит иней* (здесь не указывается, *что* зачертит, но по основному значению *чертит* – глагол переходный); *завертит мной* прошлогоднее унынье и дела зимы *иной*; <прошлогоднее унынье и дела зимы *иной* меня> *кольнут*; *окно сдавит голод* *дровяной*.

Строфы 5-6: *по* *портъере* пробежит *дрожь*; ты <будешь мерить тишину шагами>; ты *войдешь*; ты *появишься*.

Строгую гармонию не нарушают ни по кажимости *непереходная* конструкция *завертит мной* *прошлогоднее унынье...* в третьей строфе, ни по кажимости *переходная* *мерить тишину шагами* в пятой.

⁸ Нижеследующий фрагмент с легкими поправками взят из нашей книги (Зельдович 2012, Часть IV, Глава 1).

⁹ В угловых скобках даем фрагменты, которых нет в поверхностной структуре текста, но которые недвусмысленно присутствуют в структуре семантической, а также фрагменты, чья грамматическая форма по сравнению с текстом стихотворения изменена.

Что касается незадернутых гардин, то новым референтом текста они ни в коем случае не являются, поскольку, если речь идет о доме, уверенно «угадываются». (Это явление называют обычно «бриджинг», см., например, (Matsui 2000)).

Первая по семантическим и функциональным свойствам все-таки *переходна*. С одной стороны, от субъекта к объекту *мною* перетекает энергия и объект в результате этого перетока энергии меняется (меняет свое положение в пространстве), что типично как раз для конструкции с *прямым* объектом (см., например, (Dowty 1991; Croft 1991; 1994)). С другой стороны, есть параллельная близкая по значению конструкция *завернуть меня* – уже с каноническим прямым дополнением.¹⁰

Вторая переходна по форме, но в действительности *тишина* тут скорее обстоятельство: *мерить шагами тишину* приблизительно значит ‘ходить в тишине’. К *тишине* нет перетока энергии, она в результате действия не изменяется, нельзя поставить возможный при иных объектах вопрос (ср. *Кем и чем еще завернут эта женщина?* и **Что она мерит шагами?*).

Какой же смысл у этой четкой последовательности в смене способов ввести в текст новые референты?

Если бытийная конструкция специально *предназначена* для такого введения, а непереходная небытийная такое введение часто и достаточно легко допускает, то новый субъект в переходном предложении – это нечто весьма необычное. В прототипическом случае такой субъект референтен и агентивен, и, используя переходные глаголы, мы именно субъект выбираем за «точку отсчета» и хотим сообщить, *что этот субъект делает*. Поэтому, как давно известно лингвистам (см., например, (Du Bois 2003)), введение нового субъекта в переходное предложение крайне редко по сравнению с введением нового субъекта в непереходное.¹¹

Сказанное значит, что в строфах 1-2 новизна референтов будет ощущаться достаточно сильно – ибо тут выбрана *специально служащая введению новых референтов* экзистенциальная модель; в строфах 3-4 эта новизна уже резко бросится в глаза – поскольку здесь она просто нарушает *законы* (или по крайней мере – закономерности) переходного предложения; наконец, в строфах 5-6 эта новизна будет *наименее заметна*, так как

¹⁰ Вообще таких функционально переходных конструкций с невинительным падежом объекта в славянских языках достаточно много; ср. хотя бы *управлять заводом, ответить на письмо*; подробнее см. (Nichols 1984).

¹¹ Поэтому языки мира вырабатывают специальные стратегии избавления от таких новых субъектов в переходных предложениях. Простейшие из них – так называемое «левое смещение» (*left dislocation*), когда субъект сперва просто называется (по образцу: *Мой сосед Иван – он бьет свою жену*), и предварение переходной конструкции непереходной, возможно, бытийной, где этот субъект уже появляется (*Рядом со мной живет Иван. Он бьет свою жену; У меня есть сосед Иван – так он бьет свою жену*). Заметим еще, что хотя, как только что сказано, непереходные небытийные предложения допускают новый субъект намного легче, нежели переходные, все равно наиболее прототипической позицией для нового референта остается позиция *объектная*; см. (Givón 1979: 52 и др.).

непереходное неэкзистенциальное предложение, в отличие от переходного, новизну субъекта легко *допускает*, а в отличие от экзистенциального, об этой новизне никаким *особенным* образом не сигнализирует.

Поэтому на рассмотренном уровне текста наименее новым (точнее – наименее *ощутимо* новым) оказывается именно та, кому стихотворение посвящено и чье происходящее именно в строфах 5-6 появление, по всем поэтическим канонам, должно сопровождаться сильными стилистическими эффектами.

Если, как мы только что убедились, в рассматриваемом стихотворении наблюдается столь отчетливый синэргетизм между эволюцией дискурсивных отношений в сторону простоты и эволюцией способов вводить в текст новые референты, то эволюцию дискурсивных отношений никак нельзя признать «художественно безразличной», нельзя считать случайным ее иконическое соответствие главному замыслу текста.

При этом знаменательно, что для создания такого иконизма важно не содержание текстовых отношений, не их семантика, но только их статус в плане маркированности – то есть важно такое их свойство, которое в обычном случае не играет смыслопорождающей роли и которое актуализируется здесь только благодаря данному конкретному контексту и во многом благодаря тому, что аналогичная суггестия создается также на ином имплицитном уровне текстовой структуры.

4. «Февраль» Б. Пастернака: выразимость и невыразимость дискурсивных отношений как икона главного замысла.

1.

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

2.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Через благовест, чрез клик колес
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

3.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей

Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

4.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

Начнем мы издалека.

На первый взгляд, главный конфликт этого стихотворения, конфликт между «случайным» и «верным», обнаруживает себя (и тут же разрешается) только в его конце, в последних двух строках. Но это обман зрения, ибо зерно конфликта неким потаенным, незаметным рациональному восприятию образом присутствует здесь уже с самого начала.

Происходит так благодаря весьма специфической организации первой строки в плане ее транзитивности.¹²

Согласно известной теории П. Хоппера и С. Томпсон (Hopper, Thompson 1980), в уровне транзитивности высказываний отражается, насколько соответствующая ситуация нам *явлена*, насколько ее (и, разумеется, ее участников) легко опознать, отличить от иных ситуаций и сущностей.

На общий уровень транзитивности влияют десять факторов.

Во-первых, в высокотранзитивном высказывании должно быть как минимум два актанта: подлежащее-агенса и (прямой) объект.¹³ Только в этом случае осуществляется *переток энергии* (от агенса к объекту), который особенно «нагляден» для нашего когнитивного аппарата и делает ситуацию, так сказать, более «осязаемой».

Во-вторых, высказывание более транзитивно там, где ситуация не статична, а динамична. Если в ситуации имеется объект, то ее динамизм как правило означает, что в объекте происходят изменения – и потому переток энергии становится особенно наглядным. Если объекта нет, то изменения касаются субъекта – и в этом случае «заметить» ситуацию тоже легче.

В-третьих, более транзитивно высказывание с телическим глаголом – ибо здесь действие совершается полностью или по крайней мере мыслится в своей законченности, так что соответствующее изменение в объекте или субъекте более наглядно, а впридачу к этому в случае переходных глаголов «более полон» и «более заметен» переток энергии от субъекта к объекту.

¹² Последующий анализ этой строки уже был нами предложен в (Зельдович 2012, Часть IV, Глава 1), однако здесь нашу аргументацию совершенно необходимо воспроизвести.

¹³ Ниже, где из контекста не явствует иное, объектом называется прямой объект.

В-четвертых, высказывание более транзитивно, если соответствующая ситуация моментальна: изменения, происходящие «сразу», больше бросаются в глаза.

В-пятых, изменение нагляднее тогда, когда субъект вызвал его в объекте или в самом себе по собственной воле. Поэтому при прочих равных условиях более транзитивно то предложение, которое сообщает о *волевом* действии.

В-шестых, более транзитивно утвердительное, а не отрицательное предложение – поскольку тут изменения в объекте или субъекте *реально происходят* и потому – тоже более наглядны.

В-седьмых, по аналогичной причине более транзитивно предложение, имеющее реальную, а не гипотетическую модальность.

В-восьмых, транзитивность переходного предложения повышается, если действие контролируемо: в этом случае воздействие на объект обычно оказывается более зримым. (О различиях между этим и как будто бы предельно похожим пятым фактором см. подробнее названную работу).

В-девятых, благоприятно, когда действием охвачен весь объект *целиком*.

В-десятых, транзитивность выше, если объект высокоиндивидуализирован, в частности – конкретно-референтен (и здесь, и в предыдущем случае при названных условиях его изменения легче заметить).

Принципиально, что все перечисленное – это не набор разрозненных закономерностей, но многогранное проявление одного и того же феномена. Как показали П. Хоппер и С. Томпсон и их последователи (кроме (Hopper, Thompson 1980), см., например, (Studies in Transitivity 1982)), если высказывание высокотранзитивно по одному из названных параметров, можно ожидать высокой транзитивности и по другим (постольку, конечно, поскольку они имеют в данном языке поверхностное выражение), и наоборот, *низкая* транзитивность проявляет себя обычно не в каком-то одном, но сразу во многих планах.

Об этой «неслучайности сочетаний» полезно помнить при анализе «Февраля».

Однако раньше, чем мы к этому анализу перейдем, постулаты П. Хоппера и С. Томпсон надо немного уточнить в двух отношениях.

Из сказанного (см. десятый предопределяющий уровень транзитивности фактор) прямо следует, что транзитивность понизится, если объект слабо индивидуализирован, например имеет не конкретную, а обобщенную референцию. Однако транзитивность предложения понизится и при слабо индивидуализированном *субъекте*.

С одной стороны, когда последний менее «явлен», то безусловно труднее наблюдать (или – мысленно наблюдать) и его воздействие на объект, а если объекта нет, то труднее наблюдать (мысленно наблюдать) то, что происходит с субъектом.

С другой стороны, по собственным данным П. Хоппера и С. Томпсон, на общую транзитивность предложения влияет не только уровень индивидуализации прямого объекта, но и уровень индивидуализации бенефицианта. Там, где в предложении есть бенефициант – который в подавляющем случае и обладает референциальной определенностью, и одушевлен (иными словами, почти всегда это человек, причем человек, о котором прежде в тексте уже упоминалось, либо его легко идентифицировать в силу экстралингвистических обстоятельств), – общая транзитивность предложения повышается, а во многих языках синтаксическое оформление бенефицианта может быть таким же, как оформление прямого объекта (Hopper, Thompson 1980: 259-261).¹⁴

Отсюда хорошо видно, что транзитивность предложения связана не только с уровнем индивидуализации прямого объекта, но также и с уровнем индивидуализации некоторых *иных* актантов, притом более периферийных, нежели субъект, – и потому вдвойне логично думать, что индивидуализация субъекта также влияет на общий уровень транзитивности.¹⁵

Второе нужно здесь уточнение таково. Если уровень транзитивности выше там, где действие моментально (см. выше четвертый повышающий транзитивность фактор), возникает вопрос: все ли не моментальные ситуации – при прочих равных условиях, конечно, – имеют один и тот же уровень транзитивности? Разумеется, нет. Ясно, что пусть и не моментальное, но достаточно быстро разворачивающееся телическое действие более «узнаваемо», чем телическое действие, которое развивается медленно. Поэтому верным кажется более общее, чем у П. Хоппера и С. Томпсон, правило: ситуация при прочих равных условиях тем транзитивнее, чем короче время ее существования.

Теперь вернемся к «Февралю».

¹⁴ Общеизвестный пример – английские дитранзитивные конструкции типа *I gave him a book*. Подробнее о природе таких конструкций см. прежде всего (Givón 1984); об их типологии и о степени распространенности в языках мира см. (Functions of Language. Ditransitivity 2007).

¹⁵ Вероятно, о высокой индивидуализированности субъекта П. Хоппер и С. Томпсон не стали говорить потому, что субъект, как хорошо известно, *всегда* тяготеет к высокой индивидуализированности, а для объекта скорее верно обратное; ср. (Dowty 1991), где наиболее прототипическому пациенту (а «образцовый» пациент имеет наилучшие шансы стать прямым объектом) даже отказано в независимом существовании: это такой участник действия, который в результате действия как раз и *возникает*, этим действием *создается*.

Как было уже упомянуто, при поверхностном взгляде этот текст может показаться почти «бесконфликтным» и скорее описательным: большая его часть, вплоть до последних двух строк, как бы *вырастает* из начального *Февраль*. Необходимость или желание достать чернил, писать о феврале, плакать, куда-то ехать и т.д. – всего лишь следствие из того, что стоит февраль, то есть все это находится с «февралем» в отношениях пускай и дисконфортной, но – гармонии.

Однако стоит задуматься над морфосинтаксисом этого текста – и сразу обнаружится, насколько – с самого начала! – он все-таки внутренне конфликтен.

Что можно сказать о транзитивности предложения *Достать чернил и плакать!*?

Во-первых, модальность здесь ирреальная, а вдобавок она никак не конкретизирована: это может быть ‘*надо* достать чернил и плакать’, это может быть ‘*хочу (хорошо бы)* достать чернил и плакать’ и т.п. Такая непроясненная модальность встречается даже в обычной речи (ср.: *В такую погоду (надо? хочу?) сидеть дома и пить чай*), но у Пастернака лирический герой совершенно очевидным (вдвойне очевидным – при повторном чтении, когда предстоящие действия лирического героя становятся известны в столь многочисленных и выразительных подробностях, что это недвусмысленно относит их к реальному плану)¹⁶ образом не просто хочет или считает нужным, но *намеревается* достать чернил, достать пролетку и т.д. – так что в результате здесь почти наверняка именно *реальное* действие представлено так, будто оно *ирреально*.

Во-вторых, о писании стихов, которое, несмотря на связанные с ним трудности, все равно является несомненно контролируемым действием, говорится с помощью метафоры *плакать*, то есть оно отождествляется с ситуацией уже *не* контролируемой: если человек плачет, то происходит это почти всегда помимо его воли.

В-третьих, хотя понятно, что возьмет чернила и будет писать лирический герой, он себя лингвистически не обнаруживает: буквально сообщает о необходимости/желательности этих действий для кого-то *неизвестного*, возможно, *для кого угодно*, для какого-то *генерализованного* субъекта. Иначе говоря, текст организован так, что субъект предложения *теряет* свою реальную референциальную конкретность.

¹⁶ Очевидно, правило «не описывай несостоявшуюся или гипотетическую ситуацию со слишком большим количеством подробностей» восходит в конечном счете к прагматическому постулату релевантности. Там, где подобное описание все же дается, нередок комический эффект, ср. *Тревожная, озабоченная гримаса преминула омрачить обе Зафодовы физиономии* (Д. Адамс; перевод наш – Г.З.).

(Разумеется, и эта неопределенность субъекта, и неясная модальность, о которой сказано выше, связаны с одним и тем же обстоятельством – с выбором инфинитивной модели, так что по сути это как будто не два самостоятельных «сдвига», а один «сдвиг» – и потому понижение транзитивности здесь на самом деле скромнее, чем мы это представляем. Однако на вещи можно посмотреть и по-иному: поэт выбрал то синтаксическое средство, которое снижает транзитивность сразу *по двум* линиям. Референциальная неопределенность субъекта возможна и в личном предложении, ср. хотя бы обобщенно-личное *Достанешь чернил и будешь плакать*, а следовательно, «генерализовать» субъект можно было бы, и не изменяя модальность).

В-четвертых, значимо синтаксическое соединение двух предложений: *достать чернил и плакать*. Вместе они обозначают скорее не две самостоятельные ситуации, но *одну сложную* ситуацию: у обоих действий *один и тот же* субъект (каков бы он ни был), оба действия имеют одну и ту же модальность (какова бы та ни была), происходят или происходили бы скорее всего в одном месте, а во времени эти действия локализованы так, что второе более или менее непосредственно следует за первым.¹⁷

В результате ситуации 'достать чернил' и 'плакать' теряют свою взаимозависимость, а та более сложная «сверхситуация», которую они формируют, имеет заведомо менее четкую временную локализованность, чем каждое действие по отдельности.

Наконец, учтем еще и то, что когда буквальное *писать стихи* заменяется метафорическим *плакать*, конструкция теряет свою *переходность*.

Таким образом, то, что совершенно естественным образом можно было бы сказать с помощью высокотранзитивного предложения (предложения в реальной модальности, предложения с высокоагентивным субъектом, предложения, чей субъект конкретно-референтен, чья локализация во времени достаточно компактна, предложения грамматически переходного), говорится иначе – с демонстративным ослаблением транзитивности во всех названных планах.

Зачем же нужно такое ослабление?

Скорее всего для того, чтобы резче *противопоставить* фразу *Достать чернил и плакать!* – зачину *Февраль*.

¹⁷ Ср. исключительно важное при описании некоторых языков понятие сериализации действий; см. например (Tallerman 1998: 79-81). Широко известна способность русского языка окказионально «объединять» две простые ситуации в одну, ср. конструкции с «двойными глаголами» типа *А я стою молчу, А она сидит плачет*.

Модальность зачина реальная, причем это даже не следствие авторского выбора, а предзаданная необходимость: все предложения этого типа (*Ночь. Улица. Фонарь. Аптека* и проч.) сообщают о том, что наблюдатель (обычно – говорящий) действительно видит перед собой.¹⁸ У них нет ни отрицания (ср. **Не февраль*; **Не ночь*; **Не улица*), ни модализованных вариантов: модализации вроде **Наверное, улица*, **Видно, фонарь* аномальны, а фразы типа *Наверное, февраль*; *Кажется, ночь*; *Кажется, аптека* допускаются только при очень серьезной поддержке контекста (должно быть *известно*, что говорящий пытается определить, какой сейчас месяц, какое время суток; что говорящий куда-то идет и чего-то ищет), поддержке, которой в общем случае вовсе не требуют утвердительные *Февраль*; *Ночь* и т.д., – так что никакой прямой соотносительности между «реальным» и гипотетическим вариантом здесь усмотреть нельзя.

Во-вторых, сообщение типа *Февраль* скорее предполагает, что наблюдатель не просто *видит* соответствующую картину, но – на нее *смотрит*, то есть совершает *агентивное, контролируемое* действие. Разумеется, это не совсем обычная агентивность, ибо тут речь идет о действии имплицитного наблюдателя. Тем не менее, такое действие – все равно неотъемлемая часть той ситуации, которая обозначается предложениями подобного рода.

В-третьих, сказать *Февраль, Ночь, Улица* и т.д. может только конкретный субъект и только о конкретном явленном ему в наблюдении *феврале*, конкретной *ночи* или *улице*.

В-четвертых, речь идет об одномоментном, имеющем место *здесь и сейчас* акте наблюдения. Напомним, что у таких предложений нет прошедшего и будущего времени и они не могут содержать обстоятельство места. (Сказать *У нас тут февраль* можно, но это умозрительное суждение, не предполагающее, что *февраль* в своих проявлениях сейчас наблюдается, – то есть на самом деле обстоятельство места допустимо лишь в ином, *омонимичном* предложении).

В-пятых, хотя в формальном плане ни о какой переходности говорить нельзя, семантически обсуждаемое предложение переходно – поскольку *февраль* тут *объект наблюдения*.

В итоге оказывается, что именно по тем параметрам, по которым транзитивность фразы *Достать чернил и плакать!* демонстративно (демонстративно – ибо без необходимости, ибо тут доступна высокотранзитивная конструкция вроде *Достану чернил и буду плакать*) снижена, транзитивность предложения *Февраль* – очень высока, причем высока *с необходимостью, помимо авторского выбора*: совершенно не видно, каким *иным* способом, с помощью какой *иной* конструкции автор мог бы сказать то, о

¹⁸ Даже если у Пастернака объект видения не материален, то материальны те «приметы» февраля (слякоть и т.д.), на которых тут сосредоточено внимание.

чем тут говорится. Сопоставимые фразы вроде *Сейчас февраль, Настал февраль* или *Стоит февраль* дают не «снимок» видимого автором, а описание объективных, так сказать, «безличных» фактов; ср. хотя бы допустимость здесь дистанцирующих автора от того, о чем говорится, эвидентивных показателей, как, скажем, в *Сейчас, наверное, февраль; Видно, настал февраль*, или допустимость дистанцирующих обстоятельств места, как в *У них сейчас февраль; В деревне настал февраль*.

Если же транзитивность одного предложения прихотливо умалена, поскольку автор имел такую возможность и ею воспользовался, а транзитивность другого высока и не может быть изменена никакой убедительной парафразой (а вдобавок использованная конструкция достаточно редка в нашей речи и оттого очевиднее значимость ее выбора) – не намечается ли уже здесь тот конфликт между произвольным и предзаданным, *случайным* и *верным*, который будет разрешен (точнее – будет сказано о его прозрачности, надуманности) в последних строках стихотворения?

Теперь вернемся к нашей основной теме и убедимся, что этот же присутствующий уже в первой строке «Февраля» конфликт развивается и под конец разрешается также и в совершенно ином плане – в плане устанавливаемых здесь текстовых связей. Интересовать нас будет даже не столько их характер, их содержательная сторона (в этом аспекте текст построен скорее непоследовательно), сколько вопрос, *появляется ли здесь эксплицитное указание на присутствие этих отношений и может ли оно появиться вообще*.

Речь пойдет о союзе *и*, который может выступать при многих дискурсивных отношениях, в частности, нарративных, причинно-следственных и даже детализационных (см. ниже). Поэтому его нельзя считать специфическим показателем некоторой одной или даже некоторых двух достаточно близких по природе текстовых связей. Тем не менее, совершенно очевидным образом союз *и* прямо сигнализирует о том, что *какое-то* дискурсивное отношение имеется.

Поэтому, например, фраза, начинающаяся с союза *и*, кроме сильно маркированных и крайне редких в реальной речи случаев, не может открывать собой новый текст, ибо она непременно должна продолжать какую-то тему, которая *уже есть в предтексте*.

Более того, существуют такие типы дискурсивной связи, при которых этот союз *совершенно неуместен*: это пояснительная связь (скажем, текст *Маша не пришла на работу, и она больна* аномален относительно интерпретации ‘Маша не пришла на работу потому, что она больна’), это в подавляющем большинстве случаев контраст (плохо сказать *Маша больна, и Ваня здоров* – разве что мы усмотрим здесь причинность ‘Ваня здоров

потому, что Маша больна'), это отношения между «фоном» и основной линией повествования (скажем, текст *Стояла отменная погода. И Ваня вышел из дому*, в отличие от аналогичного без обсуждаемого союза, *Стояла отменная погода. Ваня вышел из дому*, предполагает между своими частями не только отношения «фон – событие нарративного ряда», но и дополнительную «оправдывающую» присутствие и причинно-следственную связь, 'Ваня вышел из дому потому, что была отменная погода').

Таким образом, хотя союз и обладает весьма расплывчатым значением, говорить о его *полном безразличии* к характеру сигнализируемой им дискурсивной связи *ни в коем случае нельзя*. Это значение шире, чем просто 'нарративность', просто 'каузальность' или просто 'детализация', однако присутствие *и* исключает *по крайней мере некоторые* из воображимых дискурсивных отношений и в определенном смысле может трактоваться как – пускай и не вполне однозначный (но мало ли в языке многозначных единиц или единиц с крайне размытой семантикой?) – эксплицитный выразитель соответствующей дискурсивной связи.¹⁹

В начальной строке, *Февраль. Достать чернил и плакать!*, первая фраза указывает на причину, а вторая – на следствие. В обычном случае при таких отношениях союз *и* употребить можно, ср. *Был февраль, и хотелось плакать; Маша болела и сидела дома*, – однако здесь – ни в коем случае *нельзя*, ср. аграмматичное **Февраль. И достать чернил...*²⁰

С другой стороны, что касается внутренней структуры второго предложения, *Достать чернил и плакать!*, то она нарративна, и на наличие этой связи уже эксплицитно указывает союз *и*.

Таким образом, в первой строке мы видим текстовую связь, на присутствие которой эксплицитно не указывается и вдобавок не может быть указано (лакуна тем более ощутимая, что в большинстве случаев связи данного типа как раз допускают такое указание), и текстовую связь, о присутствии которой можно прямо просигнализировать и это действительно сделано. Поэтому в плане выразимости дискурсивных отношений первая и вторая фразы «Февраля» оказываются в хоть и скрытом, но достаточно остром конфликте.

¹⁹ Из многих работ, где проводится эта же мысль, см., например, (Blakemore, Carston 1999). Вообще, как мы уже упоминали, вопрос о природе союза *и* и его иноязычных соответствий, о том, в какой мере их поведение определяется собственно семантическими и в какой прагматическими факторами, – один из самых обсуждаемых в грамматике текста; см. (Jasinskaja 2009) с дальнейшей литературой.

²⁰ Разумеется, такое положение вещей объясняется в конечном счете грамматической маркированностью и номинативного, и инфинитивного предложений. Впрочем, для нас тут важны скорее следствия, а не причины.

Иными словами, на имплицитном уровне первая строка не просто внутренне конфликтна, но внутренне конфликтна *дважды* – и с точки зрения транзитивности, и в плане выразимости текстовых связей.

Об исключительной важности второго обстоятельства говорит то, что этот конфликт спроецирован на всю остальную часть стихотворения.

Если фрагмент *Достать чернил и плакать!* нарративен и здесь присутствует союз *и*, то можно ожидать, что, будь нарративным и непосредственно следующий за ним отрезок текста, он тоже присоединился бы с помощью *и*, а отсутствие такого союза логично считать сигналом о том, что наррация здесь прерывается. Поэтому *Писать о феврале навзрыд* есть причины воспринять не как продолжение начатого было повествования, но как иное, альтернативное описание той же ситуации, которая названа глаголом *плакать*. Это прочтение тем более убедительно, что установить характерную в целом для наррации причинно-следственную связь между *достать чернил* и *плакать* существенно легче, если плач воспринимать как метафору поэтического творчества, для которого чернила обычно нужны, но отнюдь не требуются, чтобы плакать в прямом или в каком-либо ином переносном смысле этого слова.

Отсюда видно, что отношения между *плакать* и *писать о феврале* – это практически наверняка отношения детализации, отношения такого же типа, какие нам встретились в примере (1) *Мария сломала лыжи. Она потеряла свое главное средство передвижения*. В большом числе случаев тут как показатель связи допускается союз *и*, ср. предложение *Мария сломала лыжи и потеряла свое главное средство передвижения* или текст *Мария сломала лыжи. И потеряла свое главное средство передвижения*, которые легко могут быть поняты как синонимичные с текстом (1). Здесь, однако, ни союз *и*, ни иной подобный маркер (судя по всему, из-за метафорического характера *плакать*) невозможны: конструкция *плакать и писать о феврале* имела бы совершенно иной смысл, представляя два действия как *разные*.

В строфе 2 отношения между *достать пролетку* и *перенестись...* нарративные, и на них *можно* эксплицитно указать с помощью союза *и* – хотя здесь это и не делается.

В строфе 3 тоже есть нарративность, причем и союз *и* здесь действительно присутствует (...*сорвутся в лужи и обрушат...*).²¹

В строфе 4 первые строки, *Под ней проталины чернеют* и *И ветер криками изрыт*, подготавливают финальный вывод *И чем случайней, тем вер-*

²¹ Помимо более естественной нарративной интерпретации 'грачи сначала сорвутся в лужи, затем обрушат...', здесь, кажется, допустима и детализационная, при которой все описываемое предстает как по сути единое действие ('...сорвутся и тем самым обрушат...').

нее *Слагаются стихи навзрыд*, так что отношения тут – в широком смысле – причинно-следственные, и присутствует союз *и*. Что касается внутренней связи между этими первыми строками, то характер ее уточнить достаточно трудно (возможно, это упоминавшаяся выше связь по принципу «продолжения», возможно, особый тип связи, которая устанавливается между двумя причинами, относящимися к одному и тому же следствию, и может быть названа «коаргументативной»), однако важно, что она формально выражена и что при этом по характеру она отличается от причинно-следственной.

Итак, начиная со второй строки текст «Февраля» последовательно движется от невыразимых текстовых связей к текстовым связям, которые выразимы, но не выражены, а затем – к выразимым и одновременно выраженным текстовым связям, причем последние по своему содержанию весьма разнообразны (и наррация, и причинно-следственная связь, и «продолжение» либо «коаргументативность») – и этим, по логике поэзии, должно только подчеркиваться *сходство* их выражения с помощью *и*, а стало быть – и сама их *выраженность*.

Если учесть, что «верное» для поэзии – это точное слово, это способность выразить, однажды навсегда запечатлеть, а «случайное» – это ее нехватка, трудно не прийти к выводу, что основополагающий для «Февраля» конфликт между случайным и верным возникает и разрешается, среди прочего, на глубоко суггестивном уровне, связанном с выразимостью или невыразимостью дискурсивных отношений.

5. «Свидание» Б. Пастернака: текстовые связи и временная локализованность ситуаций

1.
Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.

2.
Одна в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волненьем
И мокрый снег жуешь.

3.

Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.

4.

Течет вода с косынки
За рукава в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах.

5.

И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынка и фигура
И это пальтецо.

6.

Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.

7.

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.

8.

И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.

9.

И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы

Меж нас я не могу.

10.

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

И по всему контексту «Стихотворений Юрия Живаго» (напомним, что это стихотворение располагается после «Разлуки» и вообще завершает собой романтическую линию цикла: непосредственно за ним следует уже совершенно иная по тематике «Рождественская звезда»), и по смыслу заключительной строфы, и потому, что свидания тут представлены как повторяющиеся (ср. узуальное использование совершенного вида в первых двух строках), а вместе с тем о возлюбленной сообщается множество таких подробностей, которые едва ли могут многократно воспроизводиться в реальности (строфы 2-6), – по всем этим причинам описанная тут встреча – это почти наверняка встреча с собственной памятью, но не встреча наяву.

Поэтому в своей «явленности», в модусе своего существования автор и возлюбленная далеко не равноправны: ее на самом деле нет, зато автор здесь – действительно присутствует, хотя бы уже как субъект сознания и субъект речи, так что к нему декларация «нас на свете нет» приложима только метафорически.

А вместе с тем иллюзия равноправия, «равносущности» и «равноприсутствия», между автором и его любимой здесь настолько сильна, что интересно задуматься, какими же средствами она создается.

Нам кажется, эти средства связаны именно со способом организации дискурсивных отношений и с теми их особенностями, которые обычно остаются незаметными, но в данном случае – порождают яркий стилистический эффект.

Там, где описывается возлюбленная, в строфах 2-6, отношения между отдельными предикациями *детализационные*.

Там, где речь идет о самом авторе, дело обстоит иначе.

В строках 1-3 строфы 1

Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги...

перед нами *наррация*.

В строфе 7

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,

Тебя вели нарезом
По сердцу моему

либо дается *пояснение*, почему «весь твой облик сложен Из одного куска», либо же вся эта строфа соотносится со строфами 2-6 как *следствие с причиной*.

В строфе 8

И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд

первые две строки допустимо рассматривать как *детализацию* строфы 7, но равным образом они могут быть и указанием на *следствие* того, что описано в этой строфе, и даже ее *нарративным продолжением*.

Как сообщение о причине и следствии соотносятся и две половины самой строфы 8.

Таким образом, в «мире автора» детализационные текстовые отношения почти нигде не возможны, а в одном-единственном составляющем исключение случае, между строфами 8 и 7, они хотя и допустимы, но только наряду с иными, конкурирующими интерпретациями, причем одна из них, каузальная (строфа 7 указывает на причину, а первые две строки восьмой строфы – на следствие), намного убедительнее детализации.²²

Почему же с образом возлюбленной так прочно ассоциирована детализация, а с образом автора – иные, отличные от детализации текстовые отношения?

Как мы уже имели случай сказать выше, кроме особого и весьма редкого (в частности, он не представлен в интересующей нас части «Свидания») случая, когда ситуации вообще не локализованы во времени, верно следующее: если с помощью предложения В мы детализируем то, что сказано в предложении А, то соответствующая ситуация занимает либо тот же самый временной интервал, что ситуация, описанная в А, либо часть этого интервала; ср. соответственно примеры (24) и (25):

²² Вопрос, насколько естественно усматривать здесь детализацию, усложняется тем обстоятельством, что перед нами две достаточно разнородные, так сказать, лежащие в разных измерениях метафоры: не вполне ясно, как же вообще сопоставлять их смысл и относятся ли они к одной и той же ситуации. Та же проблема возникнет, если обсуждаемые отношения признать нарративными. Что касается каузальных отношений, то они на структуру соответствующих ситуаций не накладывают ограничений: в принципе что угодно может стать причиной чего угодно.

(24) Иван написал новую статью. Он делал это с удовольствием (писание статьи и получение удовольствия скорее всего относятся к одному и тому же времени).

(25) Иван написал новую статью. Он изучил литературу предмета, составил подробный план и, наконец, продиктовал текст своей помощнице (каждая из последних трех ситуаций охватывает лишь часть того интервала, к которому приурочено написание статьи в целом).

В обоих этих случаях язык интерпретирует темпоральные взаимоотношения двух ситуаций как одновременность (о чрезвычайно либеральной, широкой трактовке этого понятия естественным языком см., например, (Wilson, Sperber 1998)): в частности, в обоих случаях можно использовать конструкции с союзами *когда, в то время как* и т.п.; ср.:

(26) Когда Иван писал новую статью, он радовался.

(27) Когда Иван писал новую статью, он изучил литературу предмета.

(28) Когда Иван писал новую статью, он составил подробный план и продиктовал текст своей помощнице.

Если же две ситуации вступают не в детализационные, а в нарративные, пояснительные или причинно-следственные отношения, то их одновременность либо не обязательна (в последних двух случаях), либо попросту исключена (в случае наррации).

Таким образом, в пастернаковском тексте благодаря «детализационному модусу» соответствующих фрагментов существование возлюбленной «сфокусировано», «сосредоточено» в одной временной (а также, следовательно, и пространственной) точке и этим особенно «актуализировано», существование же автора, с которым в тексте ассоциированы *не детализационные* дискурсивные отношения, – наоборот, так сказать, «распылено» во времени и, следовательно, скорее всего и в пространстве.

Этим и уравновешивается изначальное «разномирие» двух персонажей.

Как видим, в структуре «Свидания» необычайно важно даже не столько прямое, очевидное содержание дискурсивных отношений, сколько их специфическое и редко заметное, в том или ином интуитивно ясном смысле «второстепенное» свойство четко предопределять или, наоборот, не предопределять взаимную временную локализованность вступающих в эти отношения ситуаций.

6. Заключение

Предложенный анализ приводит к трем важнейшим выводам.

Первый состоит в том, что в лирике текстовые отношения могут выступать не только в своей изначальной, примарной роли (связывать две позиции как описание разных аспектов одного и того же события, как указание на причину и на следствие, как описание событий в их временной последовательности и т.д.), но обладают еще и немалым суггестивным потенциалом: они могут определенным образом упорядочиваться по своим *вторичным, не центральным* свойствам – и в результате вступать в параллелизм с иными присутствующими в тексте смыслами либо, не исключено, даже самостоятельно создавать новый смысл.

Второй вывод не очевиден, а скорее парадоксален.

Как хорошо известно, особенно благодаря исследованиям Р. Якобсона (см., например, (Якобсон 1987)), важнейшим организующим началом в поэзии становится принцип повтора, причем прежде всего повтора *формального* (разумеется, с дальнейшим его содержательным осмыслением), повтора, непременно предполагающего, что повторяющиеся элементы «разверстаны» по синтагматической оси, один *предшествует* другому, а другой за первым *следует*: вспомним хотя бы о таких явлениях, как рифма, аллитерация или ритмическое подобие фрагментов.

Для художественной прозы повтор не «конститутивен», но тоже достаточно типичен, однако подобие здесь в общем случае не диктуется формой, оно изначально связано со *смыслом*: повторяются (нередко по принципу контраста, «антонимически», «зеркально», «в перевернутом виде») ситуации, мотивы, черты характеров, поведения, внешности и т.д., в то время как формальные повторы присутствуют лишь спорадически и как правило лишь в прозе орнаментального типа (см., например, (Шмид 2003)). Отсюда следует, что хотя на практике повторяющиеся в прозе элементы часто бывают синтагматически упорядочены и следуют один за другим, в принципе это далеко не обязательно. Скажем, два похожих мотива могут обнаружить себя в одном и том же предложении и таким образом, что ни о какой сколько-нибудь ясной их синтагматической упорядоченности нельзя вести речь.

Если некоторая дискурсивная «конфигурация» лирического произведения, как это обнаружили наши разборы, в том или ином плане уподобляется другим присутствующим в нем смыслам, то несомненным образом имеет место все тот же повтор, однако он особого, не характерного для лирики рода. Он не диктуется и не может диктоваться формальными правилами и потому имеет чисто смысловой характер, а вдобавок повторяю-

щиеся, «взаимоотражающие» элементы здесь заведомо лишены синтагматической упорядоченности.²³

Все это значит, что обсуждаемый тип параллелизма по сути своей «антилиричен» и в принципе сближает поэзию с прозой.

Разумеется, сближение и поэзии с прозой, и, наоборот, прозы с поэзией далеко не редкость и может осуществляться весьма многообразными способами, которые мы не можем здесь описывать. Важно, однако, что если в иных случаях и «лиризация прозы», и «прозаизация лирики» сразу заметны и воспринимаются как демонстративный отход от соответствующего канона (и, конечно, как благодарный, самоочевидный материал для часто не слишком замысловатого анализа), то рассмотренные тексты Б. Пастернака – а равным образом и многочисленные иные выдающиеся стихотворения русских и зарубежных поэтов, которые мы надеемся под аналогичным углом зрения проанализировать в другом месте, – в нашем субъективном восприятии остаются как нельзя более чистыми образцами *именно лирической поэзии* – так что перед нами здесь совершенно особая, *парадоксальная* «прозаизация» лирического текста, «прозаизация», вовсе не идущая вразрез с лиризмом, но именно им в конечном счете и предопределяемая: предопределяемая внутренней потребностью лирического произведения выйти за свои собственные пределы, преодолеть свой «внутренний закон».

Более того, если не-формальный и не-синтагматический характер обсуждаемых повторов допустимо трактовать как попытку поэзии сблизиться с прозой, то иные их особенности могут вести поэзию еще дальше – просто *за пределы самого языка*.

Обратим внимание на следующие не в одинаковой мере очевидные обстоятельства.

Во-первых, присутствие тех или иных дискурсивных связей во всяком тексте обязательно, «неизбежно»: без этих связей текст «рассыпается» и перестает быть текстом.

Во-вторых, как мы уже подробно писали в начале работы, хотя для некоторых авторов дискурсивное отношение в каждом случае оказывается уникальным, так сказать, «одноразовым» (Nicholas 1994), более убедительно и преобладает в литературе мнение, что инвентарь дискурсивных связей *весьма ограничен*: это несколько базовых, «основных» типов связи, которые весьма часты и не требуют поддержки контекста либо требуют ее в малой степени (детализация, пояснительные, причинно-следственные от-

²³ Понятно, что такую взаимоупорядоченность можно приписать *отдельным* дискурсивным связям в рамках той или иной «конфигурации», но речь сейчас о тех взаимоотношениях, в которые с иными смыслами вступает дискурсивная «конфигурация» *как целое*.

ношения, наррация), и определенное вполне обозримое количество более маркированных типов, которые достаточно редки и которые налагают на характер контекста уже весьма осязаемые ограничения (контраст, параллелизм, уступка и др.). См. об этом в первую очередь книгу (Asher, Lascazides 2003), где постулат о конечном числе возможных дискурсивных связей играет особенно важную роль и подробно обосновывается – пускай и эмпирически, а не теоретическим путем, от которого в данном случае Н. Ашер и А. Ласкаридес по ряду причин решительно отказываются.

В-третьих, дискурсивная связь, будучи в общем случае весьма имплицитной, неявной, либо вообще не может подвергаться отрицанию, либо для ее отрицания нужны средства, намного более сложные и индивидуализированные, специально «приспособленные» к данной конкретной ситуации, чем «стандартный», универсальный показатель отрицания, частица *не*, или ее ближайшие перифразы наподобие *неверно*, *что* или *неправда*, *что*. Так, чтобы разрушить детализационные отношения в тексте

(1) Мария сломала лыжи. Она потеряла свое главное средство передвижения,

нужно прямо добавить нечто весьма пространное и скорее неловкое, вроде (29) Я не хочу сказать, будто лыжи и были ее главным средством передвижения. Под Машиным главным средством передвижения я подразумевал ее велосипед, который у нее как раз украли.

Чтобы исчезла нарративность в тексте

(30) Иван закончил университет и поступил в аспирантуру, недостаточно сказать

(31) Неправда, что Иван закончил университет и поступил в аспирантуру.

Наиболее естественно для предложения (31) прочтение в смысле ‘Иван не закончил университет и не поступил в аспирантуру’, чуть менее естественно в смысле ‘Иван закончил университет, но не поступил в аспирантуру’, наконец, малоестественно, однако все-таки допустимо в смысле ‘Иван поступил в аспирантуру, хотя *не закончил* университет’, – однако при любой из этих интерпретаций отрицание напрямую касается самих действий Ивана, но не временной *связи* между этими действиями, так что упразднение этой связи может стать здесь лишь побочным эффектом совершенно иных смысловых трансформаций, а попадать «в фокус» отрицания, быть *главным и единственным* отрицаемым здесь смыслом идея нарративности не способна.

Чтобы это произошло, необходимы подробные разъяснения, например нечто типа (32):

(32) Я хочу сказать, что окончание университета как раз и совпало с поступлением в аспирантуру, поскольку по здешним правилам тот, кто отлично защитил диплом (а Иван защитил отлично), автоматически становится аспирантом.

Таким образом, дискурсивные отношения обычными, «стандартными» способами *нельзя отрицать*.²⁴

В-четвертых, те сложные дискурсивные «конфигурации», которые возникают в лирическом тексте из самостоятельных, «элементарных» дискурсивных связей, сами по себе лишь с большим трудом поддаются сколь-нибудь конкретной интерпретации и приобретают свой смысл только благодаря контексту, благодаря тому, что говорится в стихотворении более или менее *прямо*.

В-пятых, эти же дискурсивные «конфигурации» в свою очередь подчеркивают, выделяют среди многообразных присутствующих в стихотворении смыслов именно те, с которыми вступают в тот или иной «резонанс».

Какое же *иное* явление в нашей коммуникации по всем этим свойствам подобно проанализированному нами «языку дискурсивных конфигураций»?

Разумеется, это – широко понимаемый – *жест*.

Действительно, в обычных условиях практически всякая наша устная речь сопровождается хотя бы минимальными движениями рук, корпуса, глаз и хотя бы минимальными мимическими движениями. Репертуар «жестовых» движений и позиций явно невелик по сравнению со всем тем разнообразием смыслов, которые выразимы в языке как таковом. Нет сколь-нибудь простого и стандартного, универсального способа жест отрицать. Хотя существует немало конвенционализированных жестов (разнообразные жесты приветствия, прощания, угрозы и др.), обычную речь мы чаще сопровождаем как раз жестами не конвенционализированными, такими, чей смысл проясняется только в данном отдельном контексте – а сам жест при этом помогает выделить во всем сказанном наиболее важную информацию (ср., например, (Lascarides, Stone 2006)).

Безусловно, между теми или иными «конфигурациями» дискурсивных связей и жестами есть и глубокие различия. Скажем, многие жесты имеют образно-иконический характер, напрямую «подражая» явлению, на которое указывают, в определенной мере «живописуя» его, а смысл дискурсив-

²⁴ Разумеется, эта же неотрицаемость присуща и пресуппозициям и так называемым «слабым смыслам» (см. о последних (Зельдович 1998)), однако по другим свойствам дискурсивные отношения от пресуппозиций и слабых смыслов существенно отличны. В частности, как мы говорили выше, их инвентарь весьма скуден, а многообразие принципиально возможных пресуппозитивных и «слабых» смыслов бесконечно велико.

ных «конфигураций» *диаграмматичен*, угадывается не непосредственно из характера той или иной дискурсивной связи, а из их *взаимосоотнесения*.

Тем не менее, и сходство проанализированных нами дискурсивных «конфигураций» с жестами настолько многомерно, что заставляет за содержательным использованием таких конфигураций в лирическом произведении видеть устремленность поэзии не только в такую наиболее близкую внепоэтическую область, как проза, но и еще дальше, к языку жестов, то есть, в конечном счете, – *уже за границы собственно языка*.

Наконец, последний, третий вывод.

Если до сих пор речь шла преимущественно о том, что же теория дискурса способна дать лингвопоэтике, то, анализируя суггестивную сторону дискурсивных отношений, мы можем многое узнать также об их собственном устройстве и о принципах их функционирования не только в поэтическом тексте, но во всяком тексте вообще.

В п. 2 мы говорили о непримитивном характере текстовых отношений: о том, что ни одно из них нельзя полноценно описать с помощью простой, «одномерной» формулы типа «наррация = временная соположенность событий» или «пояснение = указание на причину», о том, сколь многообразны их, так сказать, нецентральные, дополнительные свойства, и о том, что полное и выявление, и описание последних остается делом будущего.

Поскольку же поэзия, как мы видели выше и как надеемся подробнее показать в другом месте, подобные ограничения регулярно эксплуатирует и этим их *выявляет*, то именно лингвопоэтический анализ обещает сказать нам особенно много и об их «инвентаре», и о смысловой природе.

Л и т е р а т у р а

Грамматические категории в дискурсе, М., 2008.

Зельдович Г.М. 1998 – «О типах семантической информации: слабые смыслы», *Известия РАН. Серия лит. и яз.*, 1998, Т. 57. N 2., 27-37.

Зельдович Г.М. 2012 – Прагматика грамматики, М., 2012.

Кибрик А.А. 2008 – «Финитность и дискурсивная функция клаузы (на примере карачаево-балкарского языка)», *Грамматические категории в дискурсе*, М., 2008, 131-166.

Петрухин П.В., Сичинава Д.В. 2006 – «Русский плюсквамперфект в типологической перспективе», *Веревица литер.* К 60-летию В.М. Живова, М., ЯСК, 2006, 193-214.

Шмид В., *Нарратология*. М., 2003.

Яacobсон Р. 1987 – «Грамматический параллелизм и его русские аспекты», Р. Яacobсон, *Работы по поэтике*, М., 1987, 99-132.

- Asher N., Lascarides A. 2003 – *Logics of Conversation*, Cambridge, 2003.
- Blakemore D., Carston R. 1999 – «The pragmatics of *and*-conjunctions: The non-narrative cases», *UCL Working Papers in Linguistics*, 1999. Vol. 11. P. 1-20.
- Croft W. 1991 – *Syntactic Categories and Grammatical Relations: The Cognitive Organization of Information*, Chicago 1991.
- Croft W. 1994 – «Voice: beyond control and affectedness», Hopper P., Fox B. (eds.), *Voice: Form and Function*, Amsterdam 1994, P. 89-117.
- Dahl Ö. 1985 – *Aspect and Tense Systems*, Oxford: Basil Blackwell, 1985.
- Dowty D. 1977 – «Towards a semantic analysis of verb aspect and English “Imperfective progressive”», *Linguistics and Philosophy*, 1977, Vol. 1, № 1, 45-78.
- Dowty D. 1991 – «Thematic proto-roles and argument selection», *Language*, 1991, Vol. 67, № 3, 547–619.
- Du Bois J.W. 2003 – «Argument structure: Grammar in use», Du Bois J.W., Kumpf L.E., Ashby W.J. (eds.), *Preferred Argument Structure: Grammar as Architecture for Function*, Amsterdam 2003, 11-60.
- Fleischman S. 1990 – *Tense and Narrativity: From Medieval Performance to Modern Fiction*, Austin 1990.
- Functions of Language. Ditransitivity 2007* – A. Siewierska, W. Hollman (eds.). *Functions of Language. Ditransitivity*. Special Issue, 2007, Vol. 14, N 1.
- Gasparov B. 1990 – «Notes on the “Metaphysics” of Russian aspect», Thelin N. (ed.), *Verbal Aspect in Discourse*, Amsterdam/Philadelphia 1990, 191-212.
- Givón T. 1979 – *On Understanding Grammar*, N.Y. 1979.
- Givón T. 1984 – «Direct object and dative shifting: Semantic and pragmatic case», Plank F. (ed.), *Objects*, London 1984, 151-182.
- Hopper P. 1979 – «Aspect and foregrounding in discourse», Givón T. (ed.), *Discourse and Syntax. Syntax and Semantics*, Vol. 12. N.Y., etc., 1979, 213-241.
- Hopper P., Thompson S. 1980 – «Transitivity in grammar and discourse», *Language*, 1980, Vol. 56, 251-299.
- Jasinskaja E. 2009 – *Pragmatics and Prosody of Implicit Discourse Relations*, Dissertation, Tübingen, 2009.
- Van Kuppevelt J. 1996 – «Directionality in discourse: Prominence differences in subordination relations», *Journal of Semantics*, 1996, Vol. 13, 363-395.
- Lascarides A., Oberlander J. 1993 – «Temporal coherence and defeasible knowledge», *Theoretical Linguistics*, Vol. 19, N 1. P. 1-35.
- Lascarides A., Stone M. 2006 – «Formal semantics of iconic gesture», *Brandial’06*. Proceedings of the 10th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialog, Potsdam 2006, 64-71.
- Matsui T. 2000 – *Bridging and Relevance*, Amsterdam 2000.

- Nicholas N. 1994 – *Problems in the Application of Rhetorical Structure Theory to Text Generation*, Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the M. Eng. Sc. (Cognitive Science) Degree, Melbourne, 1994.
- Nichols J. 1984 – «Direct and oblique objects in Chechen-Ingush and Russian», Plank F. (ed.), *Objects. Towards a Theory of Grammatical Relations*, London, etc. 1984, 183-209.
- Sequeiros X.R. 1995 – «Discourse relations, coherence and temporal relations», Harris J. (ed.), *UCL Working Papers in Linguistics 7*, 1995, 177-195.
- Sperber D., Wilson D. 1995 – *Relevance: Communication and Cognition*, London 1995.
- Studies in Transitivity 1982 – Hopper P., Thompson S. (eds.), *Studies in Transitivity. Syntax and Semantics*, 15. N.Y. etc. 1982.
- Tallerman M. 1998 – *Understanding Syntax*, London 1998.
- Thelin N. (ed.). 1990 – *Verbal Aspect in Discourse*, Amsterdam / Philadelphia 1990.
- Wilson D., Sperber D. 1998 – «Pragmatics and time», Carston R., Uchida S. (eds.), *Relevance Theory. Applications and Implications*, Amsterdam 1998, 1-22.